

ЕКАТЕРИНА ФЕДОРЧУК

ТРИ

БУ

РОМАН

НАЛ



*«Они поставили нас перед
страшным выбором:
земная жизнь или Христос.
Пусть сейчас каждый
решает за себя.
Я свой выбор сделал».*

Екатерина Федорчук

Трибунал

«Никея»

2021

УДК 821.161.1
ББК 84Р7+86.372

Федорчук Е.

Трибунал / Е. Федорчук — «Никея», 2021

ISBN 978-5-907307-48-3

Роман – победитель конкурса Издательского совета Русской Православной Церкви на лучшее художественное произведение о новомучениках Российских. Автор поднимает сложные вопросы: главный герой романа балансирует на грани – стать палачом или остаться человеком, ведь выбор есть всегда. Это захватывающее и эмоционально насыщенное чтение, а простота художественной формы сочетается с содержательной глубиной и точностью исторических деталей.

УДК 821.161.1
ББК 84Р7+86.372

ISBN 978-5-907307-48-3

© Федорчук Е., 2021
© Никея, 2021

Содержание

Предисловие	6
Довожу до вашего сведения	7
Суд идет!	12
Свидетели обвинения	14
В поле забытым, в море убитым – вечная память!	18
Чистосердечное	22
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Екатерина Федорчук Трибунал

© ООО ТД «Никея», 2021

© Екатерина Федорчук, 2021

Предисловие Без компромиссов...

Роман «Трибунал» занял первое место на Международном конкурсе Издательского совета Русской Православной Церкви «Новомученики и исповедники Церкви Русской».

Конкурс на лучшее не публиковавшееся ранее художественное произведение по теме «Новомученики и исповедники Церкви Русской» учрежден Издательским советом Русской Православной Церкви по благословию Святейшего Патриарха Кирилла и проводится с 2018 года.

В первом сезоне в нем приняли участие 20 авторов, приславших свои рукописи. После оценки экспертов лучшей работой был признан роман Екатерины Федорчук «Трибунал», посвященный Гражданской войне.

Награждая победительницу, митрополит Калужский и Боровский Климент поблагодарил Екатерину Федорчук за труды и выразил надежду, что и другие писатели начнут создавать талантливые произведения о людях, сохранивших веру во Христа в эпоху гонений XX века.

На Рождественских чтениях 2019 года автору – Екатерине Федорчук – была вручена высокая награда.

Это далеко не случайный успех.

Екатерина Федорчук твердо стоит на православной позиции, слава Богу, в оценке исторических событий на компромиссы не идет. И вместе с тем не пытается сделать из советских начальников карикатурных злодеев: это люди, со всеми слабостями и сильными сторонами личности, но люди помраченные...

Екатерина Федорчук пишет современным языком, используя современные приемы художественной литературы, и это отрадно. Очень хорошо и правильно, что роман «Трибунал» написан прозрачно в языковом смысле, увлекательно, с напряженным, динамично развивающимся сюжетом.

Фокусировать общественный интерес на теме новомучеников и исповедников, просиявших в России сквозь темень XX века, жизненно важно. В нашей стране произошло хронологически сгущенное повторение страшных столетий, когда на ранних христиан ополчались императоры-язычники, когда мученики за веру подвергались казням, пыткам, травле зверями на цирковых аренах. Духовный опыт того времени столетиями питал христианскую нравственность.

В XX веке православные люди России получили новый трагический опыт, который по масштабам своим вполне сравним с волнами терзаний раннего христианства. Важно осознать всю глубину падения нашего народа, понять в полной мере суть того духовного дара, который получен нами от Бога в судьбах наших соотечественников, ради Господа пошедших на муки. Дар этот поистине огромен и светел, но требует постоянных усилий по осмыслению, чтобы не пройти мимо него, торопясь по делам сегодняшнего дня...

Роман «Трибунал» Екатерины Федорчук – часть духовного усилия, необходимого для того, чтобы подвиг новомучеников и исповедников XX века занял подобающее место на духовном небосклоне нашей страны.

*Дмитрий Володихин,
писатель и литературный критик,
доктор исторических наук, профессор*

Довожу до вашего сведения

От здания городского суда на улице Московской до консерватории на Немецком проспекте идти пешком минут пять. Консерватория в губернском городе С. старинная, в немецком, естественно, стиле, с острыми шпилями, с органом. Когда-то оттуда доносились звонкие девичьи трели, уверенные или не очень басовые ноты, потом там стали заседать эсеры, а теперь пришли большевики. Песня юных дев сменилась песней звонких пуль. Истошно звонили колокола, заговорили пушки.

Все это случилось еще до того, как сюда был направлен для укрепления революционной законности исполняющий обязанности председателя следственной комиссии Революционного трибунала губернского города С. Роман Давидович Хацкелеев, который был не чужд музыки. Он бы с удовольствием послушал органнй концерт. Или скрипичный квартет. Или рояль.

Вместо этого ему приходилось энергично работать локтями, пробираясь сквозь гудящую толпу. А по какому поводу гудит толпа? А по такому, что сегодня состоится грандиозное представление – показательный суд над местными попами. Два с лишним месяца работы обвинительной комиссии, десятки опрошенных свидетелей, сотни документов. На скамье подсудимых почти весь Епархиальный совет во главе с епископом Германом и лидер местной черносотенной организации – священник Михаил Платанов.

– А нет ли у вас лишнего билетика, гражданин хороший?

– А нет у меня билетика, потому как билеты распроданы уже неделю тому назад, раньше надо было думать, товарищ! – огрызается Хацкелеев и видит, как к нему пробивается Маркуша – Марк Касицын, который сразу же по приезде был назначен ему в помощники.

Стараниями Хацкелеева суд над попами собрал полный зал. Аншлаг, товарищи! Начальство будет довольно. Начальство в лице председателя исполкома Картонова-Самарского вчера сказало ему: «Отличные показатели, товарищ Хацкелеев! А кто тут три месяца назад интеллигентские сопли жевал?» А ничего он не жевал! После ранения на Дону Романа Давидовича списали в тыл и отправили на бумажную работу. Он и не возражал, ну, разве что для вида. На вопрос «почему я?» Картонов-Самарский ответил ему комплиментарно: «Ну а кто, если не ты, Роман Давидович? Наганом размахивать каждый может, а вот убедить народ в своей правоте, показать, так сказать, власть с человеческим лицом... Вот тут и смекалка твоя нужна, и образованность... А биться за власть Советов «до последней капли крови», как ты тут написал в своем заявлении, это мы уж как-нибудь без тебя».

Губернский город встретил его шумной зеленой листвой, мелкобуржуазной суетой и обещанием того, что жизнь в общем-то продолжится – не нужно будет жевать грязный снег, прятаться по подвалам, стрелять по движущейся мишени, не нужно будет умирать ни за революцию, ни за власть Советов, ни за что-нибудь еще. Живем, товарищи! Хорошо-то как! Если бы Хацкелеев был верующим, он бы добавил слово «Господи», но он ничего не добавил, а просто задрал голову и стал похож на худого черного ворона, который хочет взлететь, но почему-то медлит на земле.

Кроме Романа Давидовича свою «смекалку и образованность» проявляли еще двенадцать человек из следственной комиссии, дежуривших в здании Окружного суда на Московской улице. Среди них больше всего Хацкелеева выводил из себя товарищ Гринь, знакомый ему еще по Харькову, откуда они оба были родом. «Слушай сюда, – поучал он Хацкелеева, по своему обыкновению мгновенно переходя с новичком на «ты», – с ЧК не связывайся. Наши дела – мелкий саботаж на местах, провокации, ну, там то да се. Крупные дела (читай «денежные мешки, местные магнаты») оставляем Дойчу. Жалобы от населения на комиссаров принимай, но хода им не давай. И вообще, не расслабляйся, тут хоть и тыл, но есть свои отдельные

особенности. Будешь?» И протягивал ему грязную фляжку с мутной жидкостью, от которой Хацкелеева тошнило.

Жалобы от населения шли плотным потоком.

«...Даважу да вашего сведения что полномочный камисар чека товарищ Бурнов, собирая катр (зачеркнуто) ребуцию среди граждан буржуйского характера, деньги себе в карман поклал и Ревалюцаю придал! Примите меры...»

«...спешу уведомить, что моя соседка по комнате Зоя Власьевна Ноговицына завела себе любовника из среды неблагонадежных, тем самым поставив под удар классовую сознательность нашего дома...»

«В июле месяце сего года красноармейцы устроили стрельбу на Митрофаньевской площади... Есть пострадавшие. Просим следственную комиссию разобраться...»

«Гражданин Хазов Олег Иванович систематически пропускает заседания Исполкома...»

«Красноармеец Шляхов систематически крадет сало с общественной кухни...»

«Прошу принять во внимание, что 17-го числа сего месяца конвой чрезвычайной комиссии во вверенной мне тюрьме № 3 явился на дежурство пьяным и учинил бесчинства...»

«А что сделаешь? – поучал новичка многоопытный Гринь. – Пьяные? Так их специально поили перед «расстрельной ночью», для упрощения, хе-хе, процесса. С девочками «играли»? Так ведь дело молодое, опять же нервы, расслабиться надо. А то, что они реквизировали в магазине несколько литров спирта, – так это производственная необходимость». От этих поучений Хацкелееву становилось не по себе, но повседневная рутина притупляла свербящее чувство неправильности.

Одного из расстрельной команды Роману Давидовичу все-таки пришлось допросить. Молодой, не старше двадцати, говорил, что пришел с фронтов Мировой, был контужен. Смотрел исподлобья, зло и испуганно. Сплеывал на пол. На вопросы отвечал односложно. Что делал? А то вы не знаете, товарищ комиссар. По чьему приказу? Начальство велело? Где бумага? А на что мне она, коли я даже читать не умею?

В конце концов, он взорвался:

– Да не помню я, что делал, понял ты, гнида тыловая! Не помню! Для того и пью, чтобы не помнить. А ты думаешь, что сильно лучше меня, да? Сидишь тут в белой рубашке и нос воротишь, да? Сволочь... сволочи...

И закричал, завыл, раскачиваясь на стуле из стороны в сторону.

Хацкелеев выслушал весь этот монолог с профессиональным хладнокровием. До суда доводить не стал. Такая инициатива могла выйти ему боком. Роман Давидович был готов рисковать жизнью ради победы мирового пролетариата. Но не швырять ее под ноги местных бандитов, обалдевших от свалившейся на них власти.

Вот так и работали.

Жалобы распределяли равномерно, и целая бригада следователей трудилась в поте лица, сочиняя отписки для соблюдения революционной законности. Просителей не пускали, самых настырных сажали под замок «за распространение контрреволюционных настроений».

На самом деле и город С. давал возможность развернуться. Он стоял недалеко от передовой. За два месяца до приезда Хацкелеева власти подавили крупный эсеровский мятеж, и те, кто держал руку на пульсе событий, например председатель местной ЧК и начальник милиции товарищ Дойч, приобрели и влияние, и капитал.

Настоящие дела творились в ЧК! Там складывался новый статус-кво, и если опоздать к раздаче, то так и будешь разбирать бумажки вышестоящего безграмотного начальства и ковыряться в законодательных актах еще царского образца, чтобы найти хоть какую-то базу для революционного правосудия. А начальник ЧК ставит врагов к стенке и добивается мгновенного результата. С Дойчем, конечно, тягаться бессмысленно – у него и членство в ВКП(б) с 1905 года, и отсидка в Петропавловской. Попасть бы под его начало... Но Дойч предпочитал

окружать себя верными цепными псами, не отягощенными интеллектом. А зачем интеллект тем, кто делает грязную работу? Власть манила Хацкелеева, но цена казалась ему слишком высокой.

Уже через неделю после вступления в должность Роман Давидович перестал дергаться на предложения: «проявить бдительность», «почистить ряды», «усилить классовое самосознание». Местные развлекались, как могли. А вот телефонограммы из центра были серьезнее, потому что требовали реальных действий и реальных денег, коих не хватало. И не могло хватать, ведь каждое второе дело, ложившееся на стол к Хацкелееву, было связано с хищением средств в особо крупных размерах. «Народная, значит, власть? Ладно, я этого не говорил и даже не думал...

Убраться бы отсюда поближе к центру, туда, где происходят реальные события, где творится настоящая история! Только не убежать, трусливо поджав хвост, а уйти на повышение, с гордо поднятой головой».

И вот важное задание для следственной комиссии из самого центра по антицерковному направлению.

– Товарищ Троцкий недоволен тем, как у нас обстоят дела с антицерковной пропагандой! – мрачным тоном сообщил Хацкелееву Картонов-Самарский. – Очень недоволен товарищ Троцкий. Вы понимаете, чем это для нас чревато?

Хацкелеев понимал. Он понимал это даже лучше начальства из исполкома. Антицерковное направление в городе С. было провалено по всем статьям. Из всех возможных мер воздействия на народ новая власть использовала старое доброе «запрещать и не пушать». Запретили колокольный звон, долгополых согнали на принудительные работы – некоторых убили без суда и следствия. Ходили слухи: в деревне Ключевке Хвалынского уезда большевики попытались реквизировать у крестьян хлеб аккурат в пасхальную ночь. Крестьяне отреагировали соответственно: двоих из прибывших к ним красногвардейцев убили. Остальные разбежались.

Потом вернулись. Местного попа, как главу «контрреволюции» поставили к стенке. В селе Елшанка ретивые комиссары забили местного попа до смерти. Поп был зажиточный, однако денег не отдавал. Говорят, комиссары обыскали весь дом, но нашли не более 1000 рублей. ЧК – с нее и взятки гладки, а документов никаких! «Грабь награбленное» – вот и вся пропаганда.

Конечно, попы не оставались в долгу и, в свою очередь, устраивали молодой советской власти мелкие провокации, самой крупной из которых был крестный ход по поводу запрета преподавания Закона Божьего в школе. Дело, открытое по итогам этой провокации, было триумфально провалено лично Гринем, спешно переведенным на какой-то продовольственный скандал.

От Гриня Хацкелееву досталась пухлая папка. Однако вместо дела, которое можно было бы передать в суд, следователь увидел набор бессвязных фактов и голословных утверждений, написанных корявым почерком на казенном бланке, да еще и с ошибками. Особенно развеселила его причина, по которой дело так и не дошло до суда. Некто товарищ Гусев не смог сделать элементарного – правильно записать фамилии фигурантов дела. Так, в деле появился местный «подпоручик Киж» – протоиерей Михаил Орлов, который неожиданно заменил реального священника – иерея Михаила Платанова, настоятеля Серафимовской церкви. Комиссия опозорилась, попы перекрестились да и отправились восвояси, а с Гриня – как с гуся вода.

– Вот вы этим и займетесь, товарищ.

– А что конкретно я должен сделать? – спросил Хацкелеев, любивший во всех делах порядок и определенность.

Вопрос этот не понравился Картонову-Самарскому. Потому что он и вовсе не представлял, как подступиться к этому заданию, чтобы, с одной стороны, показать народу, что советская власть «действует только в рамках закона», а с другой – чтобы «всю эту сволоту поповскую

вымести из города поганой метлой». Так сказал товарищ Троцкий, который ехал на Уральский фронт и по случаю остановился в их городе. Обычно, когда Самарский не знал, что сказать, он начинал давить на революционную совесть и пролетарскую сознательность.

– Что конкретно? А вывести на чистую воду весь Епархиальный совет, этот рассадник мракобесия!

– Посадить весь совет? – уточнил Хацкелеев, стараясь не показывать удивления. – За что же?

– А это уж ваша работа – найти и обезвредить внутреннего врага! Или вы считаете, что они такие невинные овечки, которых и посадить не за что?

И вот сегодня вся верхушка местного церковного управления сидит на скамье подсудимых, народ гудит, как растревоженный улей, а главный обвинитель Хацкелеев дурак дураком стоит на улице, потому что вышел из здания суда слишком поздно. Зал с органом задействовали нечасто – только в экстренных случаях. Обычно заседания Ревтрибунала происходили в обстановке гораздо более камерной и деловой.

Романа Давидовича со всех сторон толкают революционные матросы и благочестивые матери семейств, темные бабки в платках и прогрессивные курсистки, студенты и воры в законе. Последние не афишировали своего занятия, но Хацкелеев глазом сыскаря из адвокатской конторы, каковым он и был в родном Харькове до 1915 года, отмечал их попытки пожить за счет собравшейся публики.

А задержала его Кира. Он столкнулся с ней буквально на выходе из своего кабинета. Почти своего. Отдельным местом для работы он обзавелся сравнительно недавно, как раз когда работал в усиленном режиме по делу о провокации попов. С Кирой они сошлись почти случайно в первые же дни пребывания Хацкелеева в С. Она была старше на десять лет, говорила грубым голосом, курила папиросы и совсем не нравилась ему. Только глаза у нее были красивые – небольшие, но всегда как будто немного удивленные. Как только стало понятно, что Кира ждет ребенка, она объяснила будущему отцу – смущенному и раздосадованному, – что считает брак пещерным предрассудком, а его поползновения управлять ее жизнью и командовать ею («Кира, не пей!», «Кира, ты опять куришь, как ты не понимаешь, что это может навредить нашему – моему, черт возьми, Кира! – ребенку!») отвратительным проявлением патриархального деспотизма! Но жить она переехала в его комнату на Провиантской, где сразу заняла все пространство, включая шкаф и комод, своим тряпьем, книгами и еще непонятно чем, а главное – собой. После переезда Киры Хацкелеев с головой ушел в работу, все чаще ночуя на служебном черном ободранном диване, стоявшем в темном коридоре прямо напротив лестницы.

– Я сделаю аборт, – говорила Кира, глядя на Хацкелеева бесцветными глазами.

– Делай, – спокойно отвечал он, изображая рабочую активность.

Об аборте Кира говорила постоянно и, кажется, с удовольствием.

– Ты эгоист, – укоряла она его.

– Я марксист, – отвечал Хацкелеев.

Роман Давидович знал, что нельзя отвечать на ее выпады, что в их словесном поединке он обязательно проиграет, но всегда отвечал, давая ей повод лишний раз измочалить в кровь его нервы. А ему сейчас нельзя было проигрывать, потому что он несколько месяцев готовился к делу о провокации попов и от исхода судебного процесса зависело многое.

В этот раз Кира вошла в его кабинет решительным шагом, гордо неся перед собой огромный живот.

– У меня отошли воды, – сказала она будущему отцу и часто-часто заморгала. – Я боюсь, Хацкелеев, не бросай меня!

Конечно, он должен был дождаться извозчика, поехать с ней в больницу, все это время держа ее за руку. Ничего этого он не сделал. И все равно теперь приходилось протискиваться через гомонящую толпу, чтобы попасть туда, где он должен был быть еще полчаса назад.

Маркуша, как все его звали, работал локтями энергично, но бестолково. Собственно, все остальное он делал так же: вместо того, чтобы собирать материал по делу, он произносил перед ошалевшими свидетелями митинговые речи, когда нужно было запросить нужные документы у Епархиального совета, он ввязывался в идиотскую полемику на тему: есть ли Бог? Вместо того чтобы найти Кире извозчика, он полчаса бестолково бегал с этажа на этаж и в конце концов предложил Хацкелееву заменить его на суде.

– Ты только скажи, чего говорить мне, а я скажу.

* * *

– Пропустите, товарищи, я главный обвинитель! – увещевал толпу Роман Давидович.

– А я – царь Николай Второй! – нагло ухмыляясь, ответил ему мужик в кепке и косоворотке, по виду из рабочих. – В синагоге своей командовать будешь, а у нас тут власть рабочая!

– Да ты что несешь! – начал было Касицын.

Хацкелеев не стал останавливать Маркушу, пока тот пытался махать кулаком перед здоровенным мужиком.

– Я стрелять буду, – наконец обиженно сообщил Касицын Роману Давидовичу.

– В толпу?

– В воздух!

Где-то далеко действительно послышались выстрелы. Толпа охнула и отхлынула от входа.

– Из-за тебя все сорвется! – причитал Касицын.

– Ничего, без главного обвинителя не начнут.

– Это ты, что ли, главный? Скажи это товарищу Гриню! Ему, чтобы контру прищучить, вообще доказательства не нужны. Пока ты тут старорежимные балеты разводишь, он настоящее дело делает!

Хацкелеев не стал вступать в дискуссию, хотя слова Маркуши его задели. Он вытащил наган и, как будто о чем-то раздумывая, направил на товарища.

– Проклятая контра, – негромко, пробуя слова на вкус, сказал он.

– Ты чего?

– Проклятая контра! – увереннее сказал Хацкелеев. – Товарищи! Перед вами представитель проклятого царизма! Пропустите, товарищи! Эта недобитая контра сейчас предстанет перед судом Революционного трибунала.

– Сдурел?

Народ, окружавший их, отреагировал не столько на слова, сколько на уверенный, командный тон Хацкелеева.

– Контра?! – переспросил один из революционных матросов. – Может, его того, а, товарищ?

– Ни в коем случае! – воскликнул Роман Давидович, внутренне наслаждаясь замешательством Касицына. – Он ценный свидетель! Мы должны его допросить в суде. Организуйте нам проход!

Толпа дрогнула и подчинилась.

– А ну, расступились, контра недобитая! – сверкая ярко-голубыми глазами, кричал матрос.

Он был переполнен гордостью от того, что оказался причастным к такому важному делу, как конвоирование в суд опасного преступника. Кроме того, как выяснилось позднее, у него не было билета. Поэтому его энтузиазм был более чем понятен.

– Революция не забудет вам этого, товарищ, – проговорил Хацкелеев, покровительственно похлопав его по плечу, когда они прорвались сквозь густую толпу и оказались по ту сторону тяжелых дверей.

Суд идет!

Хацкелеев и Касицын вбежали в зал суда буквально за минуту до начала заседания. Вернее, вбежал Маркуша, а Роман Давидович вошел неспешным шагом и с сосредоточенным взглядом, всем своим видом демонстрируя, что задержался по делу. (С таким видом он и отобразился на фото, которое сделал перед началом заседания корреспондент местных «Известий».)

Хацкелеев оглядел зал. Справа сидели подсудимые в рясах в окружении отряда милиции. Милиционеры – совсем молодые ребята. Видно, что им непривычна и странна та роль, которую на них возложила власть. На их лицах застыло смущение и любопытство.

Сами подсудимые внешне были спокойны: председатель Епархиального совета епископ Герман со своими подчиненными и священник-черносотенец Михаил Платанов.

В глубине сцены стоял стол, накрытый зеленым сукном, за которым восседали судьи: шесть человек настоящих отборных пролетариев с безупречной репутацией. Все – члены партии. Слева – стол с обвинителями: важный Роман Давидович Хацкелеев, запыхавшийся Марк Абрамович Касицын и бравый Леонид Игнатьевич Гринь, улыбающийся радостно, как бы торжествуя по поводу предстоящей победы. Чуть ниже защита обвиняемых – все старорежимные адвокаты с богатой практикой и стальными нервами: Лебедев, Рождественский, Рейнтблат. Каждого из них Хацкелеев пытался перекупить, запугать, отвлечь на худой конец, конечно, через третьих лиц. Третьи лица работали из рук вон плохо. И теперь Хацкелееву только и оставалось, что преувеличенно церемонно здороваться со своими оппонентами в коридорах суда.

И зал: черные рясы священников, черные же костюмы бывших чиновников, формы курсисток, студентов и гимназистов, косоворотки и военная форма бывших офицеров, матросов. Кажется, весь город собрался сегодня здесь, чтобы решить для себя что-то очень важное, может быть, даже – главное.

– Внимание, товарищи! – радостно прокричал фотограф. – Не жмуримся, товарищи, смело и открыто смотрим в глаза наших потомков! Спасибо, товарищи! Можете начинать, товарищи!

– Заседание суда объявляется открытым! – громко и уверенно прочитал по бумажке председатель суда Иван Васильевич Трухляев. – Слушается дело о провокации членов Епархиального совета против советской власти и о контрреволюционной деятельности священника Михаила Платанова.

Выглядело все солидно. Но не так, совсем не так все это должно было быть по мысли главного обвинителя!

Хацкелееву виделся красивый резонансный процесс! Так, чтобы жизнь и смерть, риск и жертвенность, любовь и ненависть! Чтобы зажечь инертную массу... Показать их контрреволюционную сущность, и чтобы суд присяжных, то есть судьи трибунала сами, без давления осудили бы их... на смерть? Ну, не обязательно на смерть, но так, чтобы ни у кого не осталось и сомнений. Чтобы не судебная хроника, а настоящий роман!

Да много еще о чем мечтал Роман Давидович, приступая к делу духовенства города С. – к будущему делу, которое тогда еще предстояло создать. Старые наработки Гриня и его команды определенно не годились. Разбирая ворох донесений, жалоб и просто бумаг непонятного содержания, Хацкелеев в конце концов нашел то, что нужно, в газете – «Проповедь святого отца». «Как известно, Серафимовская церковь стоит у винного склада, а служит в ней знаменитый поп-черносотенец Михаил Платанов, у которого власти еще полгода назад нашли кучу погромной литературы, которую он и писал, видимо, изрядно приняв на грудь горячительных напитков. В этот раз святой отец превзошел сам себя: 24 июля он при большом скоплении народа отслужил панихиду по Николаю II. Да-да, верь своим глазам, товарищ, поп публично уронил

скудную мужскую слезу, оплакав «помазанника Божия» Николая Александровича, расстрелянного злодейской властью «без суда и следствия». Вероятно, святой отец выпивал не один, потому что молящиеся все как один бухнулись на колени и истошно заголосили. Вопрос: что пили товарищи, прежде чем предаваться публичной скорби по врагу революции? И еще более важный: куда смотрят власти? Почему они не положили предел этому безобразию?» (Известия. 1918. № 159).

Уже на следующий день возмутителя спокойствия заключили под стражу и допросили. Это был в высшей степени удачный экземпляр черносотенного попа: проповедник, монархист, упрямый и наивный одновременно. У него дома обнаружился ворох статеек, отпечатанных в последние годы в разных издательствах, каждой из которых хватило бы на то, чтобы закатать ему высшую меру. Но Хацкелееву не нужен был один поп – ему нужен был громкий процесс, разоблачение организации...

– Товарищи! – торжественно сказал Гринь, сверкая черными глазами за огромными линзами очков. – Как представитель обвинения я должен зачитать обвинительный акт... И я его зачитаю, товарищи! Но сначала я скажу честно, потому что наболело. Над процессом работала целая бригада, и некоторые товарищи – я не буду называть их имена – еще не закалены в классово-борьбе! Все это казуистика, что они тут понаписали, может быть, и нужная, но... Ну, какой такой акт нам еще нужен! Вы можете просто повернуть голову налево и увидеть этих, с позволения сказать, пастырей, которые сидят в черных рясах и с крестами на шее. Они даже не пытаются скрыть своего буржуазного происхождения! Таким не место среди нас, товарищи!

Слушая выступление Гриня, Хацкелеев ловил себя на чувстве неловкости, чуть ли не стыда за происходящее... Топорная все-таки вышла работа. Ни одного нормального свидетеля, мотивировки – как в бульварном романе! Конечно, судьи вынесут правильный приговор, но как посмотрят на это в центре?

В чем-то Хацкелеев был согласен с коллегой по обвинению. Он и правда развел такую казуистику, чтобы привлечь к делу как можно больше народу, что сам себе удивлялся. Но Гринь не разделял его методов и на резонное замечание:

«Нельзя же человека посадить только за то, что он поп?!» – недоуменно спрашивал: «Почему?»

– А суть в том, товарищи, – продолжал ораторствовать Гринь, – что пока молодая советская страна, напрягая все силы, борется с белогвардейской заразой, тут, в тылу, у нас за спиной творятся темные дела. Этот поп, этот темный поп! Такой темный, товарищи, даже не верится... Он заливаясь крокодиловыми слезами и служит панихиды по... кровопийце... по Николаю Второму! И призвал паству к вооруженному восстанию!

– Вранье! – кто-то крикнул с места, и зал взорвался криками.

«Интересно, что там такое?» – вяло подумал Хацкелеев. Он, как и все находившиеся на сцене, не видел того, что происходило внизу, в зале.

– Тишина в зале! – грозно крикнул Трухляев, обращаясь к невидимым зрителям. – Все ли свидетели на месте?

Хацкелеев, как и подсудимые, не мог их видеть, но представлял: вот благообразный отец Димитрий Крылатов, вот измученная тревогой за мужа Варвара Ильинична, толстый, что твой буржуй, хотя никакой он не буржуй, а просто ломовой извозчик, Иван Антонович Всемирный, старая баба Маня – Мария Александровна Филинова, девочка Ксюша Барина – вечно испуганная, с тонким голоском и тонкой же рыжей косичкой, Егор Пшеницын четырнадцати лет, из приюта, который содержал Платанов.

И еще было множество народу, говорившего ему во время предварительного следствия примерно одно и то же. Теперь все они ожидали своего выхода на сцену в представлении под названием «открытый судебный процесс над священством города С.».

Свидетели обвинения

Сразу после ареста отца Михаила следственный комитет допросил прихожан Серафимовского храма. Все они, за редким исключением, были «социально близкими» – грузчики, извозчики, неграмотные старухи. Толку от них было, как с козла молока. Они избегали смотреть Хацкелееву в глаза и твердили одно и то же: «Не знаю, не помню, не понимаю...» Староста храма – дядя Ваня Всемиров – принес ему список прихожан.

– Это те, которые, значит, регулярно приобщаются Святых Христовых Тайн.

– А это что такое? – спросил он у Всемирового.

– Да как вам объяснить... это... Ну, Сам Господь Иисус Христос...

– Ничего не понял, я вас конкретно спрашиваю про списки, а вы мне какую-то мистическую галиматью несете.

– Ну, это такое таинство, которое объединяет всех верующих в единое Тело Христово.

– Понятно, значит, обряд. А это что?

– А это исповедальные списки.

– Это тех, кто попу доносит на самих себя?

– Ну, зачем вы так, товарищ комиссар...

На самом деле Хацкелеев не был так уж невежествен в делах церковных и, прежде чем приступить к допросу религиозного элемента, почитал соответствующую литературу... Но в разговоре с этим темным элементом он по какой-то ему самому непонятной причине избрал хамоватый ернический тон, характерный для представителей новой власти.

Итак, согласно исповедальному списку к нему на допрос шли дворники, грузчики, сторожа, древние бабки в темных платочках и румяные молодухи с длинными косами. Ничего путного они сказать не могли ни тогда, ни теперь.

– Свидетель обвинения Филинова Мария Александровна, – торжественно провозгласил судья Трухляев.

Он был не очень тверд в знании грамоты, и Хацкелееву пришлось немного позаниматься с ним по части чтения. Трухляев оказался учеником старательным и понятливым. Сейчас он оглашал имя первого свидетеля с видимой гордостью за свои успехи в грамоте.

На сцену поднялась согбенная старушка лет восьмидесяти.

– Расскажите, что вы знаете о контрреволюционной деятельности Михаила Владимировича Платанова, – грозно попросил ее Гринь.

Бабка испуганно заморгала глазами.

– Говорите только правду! – добавил судья.

– А... Кто это? Я и не знаю такого господина.

– Отец Михаил, настоятель вашего храма, – уточнил Хацкелеев.

– А, батюшка! – обрадовалась старуха. – Так я не знаю ничего, только возле иконы Богородицы стою, возле Заступницы, а так ничего не знаю.

Хацкелеев видел, что с прихожанами храма поработал грамотный юрист, поэтому на все прямые вопросы они отвечали односложно: «Не знаю». Уличить их во лжи было трудно, потому что вопрос о том, что считать контрреволюционной пропагандой, был вопрос тонкий. Однако на вопросы, косвенно касающиеся дела, они отвечали охотно. Тут важно было найти индивидуальный подход к каждому свидетелю.

– А листовки черносотенные вы читали? – сурово сдвинув брови, спросил судья Трухляев, сам освоивший азбуку лишь неделю назад.

– Милок, да я читать-то не умею. Какие такие листочки? – благообразно развела руками старушка.

– А такие листочки, в которых содержится злостная политическая пропаганда, – уточнил Гринь.

– Не-е-ет... Никакой поганды в нашем храме от самого, значит, освящения его не было, – заверила Мария Александровна.

– А про Николая Романова? – поинтересовался Хацкелеев.

– Про царя-батюшку? – переспросила бабуля, и лицо ее приняло страдальческое выражение. – Про царя отец наш Михаил никогда ничего плохого не говорил. А про тех, кто много жалуется на власть и вообще смущательные речи говорит, батюшка нехорошо отзывался. Нет, нехорошо, потому что власть, говорит, она от Бога!

– То есть к покорности призывал? – добавил второй судья.

– Так и есть, ко смирению.

– А про Ленина ничего не говорил?

– Ничего такого не помню.

– А что же про убийство Николая Романова?

– Дак я в тот день приболела, сынок. Грех сказать, проснулась утром, а голова чугунная, не могу поднять от лежанки.

– Тяжело вам до храма-то ходить? – сочувственно осведомился Хацкелеев.

– Да нет, как новый наш храм построили, мне совсем не тяжело, рядом же, да и если что, помогут мне дойти ребятки наши приютские.

– Какие ребятки?

– Егорка, Максимушка – хорошие ребята, сиротинушки наши.

– Список содержащихся в Серафимовском приюте несовершеннолетних подростков общен к делу, – добавил Хацкелеев. – Ну а когда закрыли церковь, трудно же стало ходить до соседнего храма? – продолжал он.

– Трудно, милоч... Ох, тяжело.

– Трудные времена настали, бабушка?

– Куда как трудные, сынок. Бога забыли, царя убили, а теперь правды и непонятно у кого искать.

– И батюшка так же говорил об этом в проповеди, да? – продолжал гнуть свою линию Роман Давидович.

– Протестую, обвинение подсказывает свидетелю ответы на вопросы! – вскинулся адвокат Лебедев.

– Протест принят, – буркнул Трухляев.

– Батюшка ведь говорил, что трудно стало жить при советской власти? Ну? Вспомните, что вы мне рассказывали на допросе.

На предварительном допросе баба Маня заявила, что пришло время антихриста, но она ничего не боится. Ни антихриста, ни Гриня, ни самого Ленина. И еще много чего наговорила Хацкелееву старая одинокая женщина, которой и поговорить-то обычно было не с кем. Муж умер, троих сыновей убили на фронтах Мировой, а младший уехал учиться в столицу – там и след его простыл. Но она все равно не жаловалась и Бога за все благодарила. На что именно она не жаловалась (длинные очереди, новая власть обнаглела совсем, хлеб пропал, спички пропали, храм Божий закрыли), Хацкелеев старательно за ней записал и не забыл добавить, что говорит она все со слов подсудимого Михаила Платанова. «Ну а кто же храм закрыл, матушка? Кто же такое черное дело совершил?» – изображая сочувствие, спросил ее на следствии Хацкелеев. «Так если б не большевики, батюшку бы не арестовали и храм бы не пришлось закрывать!»

Но на суде баба Маня отвечала тихо и очень осторожно:

– Кто закрыл? Да не знаю я – вестимо, не нашего ума это дело.

* * *

– Не пойму я, чего ты хочешь от старух? – удивлялся Касицын. – Сидишь как проклятый до поздней ночи, читаешь их книжонки поганые. Ну чего ты выведываешь у этих богомольных доходяг? Есть ли Бог?

– Там не только старухи, там целый мир – темный и совершенно нам непонятный. И я хочу его понять, – отвечал Хацкелеев.

– Я тебя умоляю, зачем так сложно? Я, пока ты тут свое хождение в богомольный народ совершал, пять дел до суда довел.

– И еще с десятков доведешь. А что за дела-то, а?

– Мелочь всякая...

– Вот-вот. Пьянство, перегибы на местах, баба Таня спекулирует яйцами. Нужно зреть в корень!

– И в чем же он?

– А вот в том... Чем они берут народ, а? Ну, какой-нибудь дед Авдей – неграмотный и косный оплот царизма, это я понимаю... А профессор филологического факультета Семен Людвигович Франк?

– Это который? В нашей картотеке не значится, – уверенно заявил Касицын.

– А ты голову подними от картотеки! И увидишь, что народ – с этим темным попом, который в брошюрах своих к погрому призывает. С ним, а не с нами! Ты в церкви был?

– Чего?

– А я был! Специально в воскресный день зашел. Там народу – не протолкнуться!

– Да мы-то здесь при чем? – возмутился Касицын. – Попами у нас седьмой отдел занимается! Вот пусть они и ходят по церквям! Поклоны бьют.

«И как работать с такими людьми?!»

Красиво говорил Хацкелеев на предварительных допросах да в коридорах Окружного суда. Вот только чем больше он говорил и горячился и чем больше свидетельских показаний выслушивал, тем яснее ему становилось, что дело – тухляк. Скучное ковыряние в словах, в мотивах, в подоплеках не могло привлечь народные массы на его сторону и уж тем более не могло вывести его на передовую линию борьбы с классовым врагом. Хотя сам Хацкелеев был в этом деле мастер. Еще работая в Харькове, он испытывал что-то вроде вдохновения художника: изучая мотивы преступления, он видел, как реальность начинала прогибаться под его пальцами, словно глина под руками гончара. Реальность покорялась его фантазии, и от этого захватывало дух. Но что, кроме своих фантазий, он мог предъявить миру сейчас?

Уж не Ксюшу ли Баринову четырнадцать лет, живущую в доме священника?

На допросе девочка от страха разрыдалась и не смогла сказать ни слова. Сквозь детские всхлипы Хацкелеев разобрал только «простите» и «отпустите». Он было подумал, что Ксюша подпишет ему бумагу с любыми показаниями, но, по зрелом размышлении, от этой идеи отказался. Девочка была ненадежным свидетелем, и ничего путного от ее имени придумать было нельзя. Поэтому Хацкелеев только записал ее данные и отпустил восвояси.

Гринь же ухватился за идею показать «эксплуататорскую сущность» попа на примере его домашних. Ничего он, конечно, не показал. Запинаясь и краснея, девочка поведала собравшимся о том, что встает она в семь утра, молится и завтракает со всей семьей, до обеда помогает матушке по хозяйству, а потом бывает предоставлена сама себе. Было очевидно, что девочка живет в доме Платанова на правах домочадца, а не прислуги.

– А родители у тебя умерли? – спрашивал ее на предварительном допросе Хацкелеев.

– Тятю я не знаю, а мамка меня оставила и уехала в столицу на заработки.

– Кому оставила?

– Батюшке. Это еще в Хвалынске было, я маленькая была. Мамку не помню.

– Скучаешь?

– Да, маленько. А то представлю, как мамка вернулась, война кончилась... Она бы погордилась – я и грамоте ученая. Меня Вера не хуже, чем в гимназии, учила. Только с языками вот... Французский этот, страсть как я его не люблю.

– Ничего, Ксюша, – великодушно заверил ее Хацкелеев, – скоро мировая революция установит власть Интернационала во всем мире, и тогда знание языков будет не нужно.

– А что, все сразу заговорят по-французски, не уча? – изумилась девочка.

– Все заговорят на языке победившего пролетариата.

– А кого победит пролетариат? – спросила Ксюша, но Хацкелеев только улыбнулся и ничего не ответил.

В поле забытым, в море убитым – вечная память!

Староста Серафимовского храма Иван Антонович Всемиров был важным свидетелем, потому что любил поговорить и лучше всех знал положение дел на приходе.

– Каково ваше социальное происхождение? – начал опрос главный обвинитель.

– Я это... извозчик. Я ж вас намеренно подвозил до здания суда, вы еще с барышней были...

В зале раздался смех, и тут же зашикали: «Помолчите, ироды, ничего не слышно!»

– Вы часто бываете в церкви?

– Так редко же... Грешен, только на праздники и в воскресенье...

– Подсудимый Платанов часто произносил проповеди?

– Грешен, не знаю... Я ж за свечным ящиком стою...

– И? – Главный обвинитель поднял бровь.

– Ну, так я ж занят: продай, подай... Верите ли, господин обвинитель, лба некогда пере-
крестить. Вы уж простите меня за выражение такое...

В зале снова поднялась волна смеха, что очень не понравилось Хацкелееву.

– Хорошо торговля идет? – перешел Роман Давидович в наступление.

– Так плохо, господин комиссар! Народ обнищал совсем, – радостно заулыбался Всеми-
ров.

– Народ бедствует, значит? А кто же в этом виноват? – спросил Хацкелеев.

«Ну, давай, – подумал он, – расскажи нам, как подсудимый ругает советскую власть».

– Протестую, вопрос не относится к делу, – заявил адвокат.

– Буду предельно конкретен, – откликнулся на замечание Хацкелеев, – расскажите нам
о проповеди отца Михаила, которую он произнес двадцать четвертого июля сего года.

Вообще-то дело отца Михаила было простым, как пять копеек.

* * *

Утром двадцать четвертого июля город накрыла пелена дождя, совсем не летнего, тоск-
ливого, предосеннего, как бы пришедшего из будущего. Церковь была почти пуста. Только
дядя Ваня уже стоял на своем посту – за свечным ящиком.

– День добрый, батюшка, благословите! – сказал староста, разворачивая газетный сверток
с длинными восковыми свечами, доставленными из Крестовоздвиженского монастыря.

Взгляд отца Михаила упал на газету – «Известия Советов». «Не надо бы этакую пакость
заносить в храм Божий», – подумал батюшка, но укорять дядю Ваню, который с таким тща-
нием подходил к каждому церковному делу, не стал, а просто смял бумагу, с тем чтобы выбро-
сить ее где-нибудь за пределами храма, но зацепился взглядом за заголовок. Слова «Николай
Романов» и «расстрелян» бросились ему в глаза и закрыли собой все будние тревоги провин-
циального священника.

Отец Михаил не то чтобы любил царя при его жизни, нет. Себя он по совести и по дол-
гом размышлении считал монархистом и готов был заявить об этом, глядя в глаза любой боль-
шевистской шишке. А все же в нем жила тайная интеллигентская обида на власть: отчего не
хороша? И смотрел он на страсти, которые творились в Петрограде, с тем же чувством бессиль-
ного недоумения, с каким смотрел на сына, ушедшего из семинарии прямо накануне выпуска
и делавшего теперь светскую карьеру где-то в бывшей столице. Как-то он там? Отец Михаил
и сам в глазах церковного начальства порой выглядел неблагонадежным. В нем не было ника-
кой склонности к дипломатии. Если бы он не критиковал власть и начальство, если бы... Не

он ли со своей бесстрашной прямоотой влил в душу сына этот яд – критиканства, бунтарства, непокорства?.. «О, если бы вернуть все на десять лет назад!»

Когда до города С. дошла весть об отречении государя, отец Михаил не разделил всеобщего ликования. Все же остальные – и безусые семинаристы, и солидные отцы протоиереев с голосами, как медная труба, и даже правящий архиерей, – все как будто немного опьянели в ожидании новой небывалой жизни. Отцу Михаилу было странно и досадно оттого, что старый мир погибал под восторженное ликование недалеких людей. И вот монарх убит, а никому нет дела ни до этого, ни до других злодеяний. От ликований, правда, не осталось следа. Город жил, словно зажмурившись под сапогом новой власти: закрывались газеты, отбиралось жилье, пустовали магазины, шли аресты и расстрелы. Тут уж не до высоких материй – лишь бы выжить, переждать... «Не навсегда же это все? Не может быть, чтобы навсегда?» Но каждый новый день приносил доказательства того, что мировой порядок сбит основательно и нет к прежнему никакого возврата.

Беззаконное убийство помазанника, глумление над его смертью – все это вдруг переполнило сердце отца Михаила едкой горечью, и оно как будто пропустило несколько ударов. Тогда он почему-то впервые испугался смерти, так же явно, как это было с ним в раннем детстве, когда его впервые коснулось непереносимое осознание собственной брэнности. Теперь к этому осознанию добавилось вдруг новое: конец и суд будут скоро – молись! Пришло и тотчас ушло, уступив место привычной и понятной посюсторонней горечи.

...А пока пели Херувимскую, проглянуло солнце, и его луч ласковой нежной кистью прошелся сначала по грязным кучевым облакам, придавая им оттенок беззаботной белизны, по листве, по лицам прихожан, снимая с них груз тревоги и усталости... Отец Михаил укорил себя за малодушные мысли. «Как же мы наивны, как детски малодушны, если настроение наше зависит от столь малого – погоды!»

Как всегда, он приготовил проповедь, связанную с тем отрывком из Евангелия, который читался за литургией согласно указаниям. На подготовку уходило много времени. Прихожане Серафимовского храма были людьми простыми, а то и, прямо сказать, не очень-то грамотными. Читать Евангелие дома в кругу семьи они не будут. Значит, все должно прозвучать здесь: нужно здесь и сейчас коснуться их сердец, их разума.

А еще проверить, не спит ли собственный разум, не очерствело ли сердце...

– И еще одно, братья и сестры, – добавил отец Михаил по окончании проповеди.

Народ уже выстроился в очередь к кресту, многие завели праздные разговоры – все больше о том, где найти соль и спички. Глядя на их озабоченные лица, он на секунду заколебался – стоит ли продолжать? Не разойтись ли нам всем по домам? Не затаиться ли? Не сделать ли вид, что ничего не случилось? Не закупиться ли просто солью и спичками?

– И еще одно, братья и сестры, – все-таки продолжил он, – сегодня утром я прочитал в газете... Случайно прочитал о том, что новая власть казнила бывшего императора Николая Романова.

Отец Михаил сделал паузу и прислушался к себе: не вернется ли прежняя потусторонняя безнадежность? Нет, тоска не вернулась. Паства как будто не слышала его слов.

– Как мы должны отнестись к этому известию? Должны ли мы негодовать? Протестовать? Не пойти ли нам с оружием в руках мстить за своего царя?

Отец Михаил задал провокационные вопросы и своего добился – в храме воцарилась напряженная тишина.

– Ответы на эти вопросы мы найдем в Священном Писании. – С этими словами он открыл заготовленный с утра отрывок из Книги Царств и прочитал: – «Тогда Давид сказал ему: как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: подойди, убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: я убил

помазанника Господня. И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевною песнью, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге Праведного, и сказал: краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! Как пали сильные!»

Итак, что мы видим? – спросил отец Михаил и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Мы видим, что праведный царь Давид казнил того раба, который посмел прикоснуться к помазаннику Божьему и лишить его жизни, хотя царь Саул и отказался от своего призвания и лишился власти. Так и те, кто лишил жизни помазанника Божьего Николая, не избегнут суда Господня. Получившие власть над землей российской, они погибнут так же, как царь Саул, если не покорятся деснице Господней. Мы же, братья и сестры, не будем мстить этим несчастным людям и не будем хранить в сердце на них злобу, но отдадим кесарю кесарево, а Богу Божие и помолимся об упокоении невинно убиенного раба Божия Николая. Господи, сотвори ему вечную память!

* * *

Вот так все и было. Об этом с большей или меньшей степенью полноты поведали Роману Давидовичу десятки опрошенных свидетелей, самым красноречивым из которых был Иван Антонович.

– Так о чем говорил отец Михаил? – спросил старосту суд.

– Так о том, что «в поле забытым, в море убитым – вечная память!». А больше я ничего не слышал.

– А на бунт он вас подбивал, например? – уточнил Хацкелеев.

– Это как? Не понял вас.

– Ну, он говорил, например, что большевики против Бога и, значит, их нужно свергнуть? Иван Антонович молчал и думал. «В самую же точку этот следователь попал! Другие орут-орут, а этот вежливый такой, как змей подколодный».

– Что же вы молчите? Бойтесь сказать правду? – осведомился «змей».

– Что большевики против Бога – это он говорил, а чтобы свергнуть – такого я не слышал, – решительно сказал Всемиров.

– Так вы за свечным ящиком, далеко... Может быть, что-то и пропустили?

– Так о том других и спрашивайте...

Другие шли, как под копирку: все они пересказывали одну и ту же историю про то, как двадцать четвертого июля батюшка (а кто-то говорил «поп») произнес проповедь о том, что убит царь Николай, и прочитал отрывок из Библии, какой – они не помнили. Попа арестовали. Храм закрыли. Кто закрыл? Вестимо кто – сторожа.

Не то чтобы Хацкелеев вообще не думал о том, чтобы подтолкнуть паству отца Михаила в нужном направлении, подсказать ей ответы. Ну конечно, думал! Подготовить свидетелей. Лжесвидетелей? Да, лжесвидетелей! Во имя революции и ради будущего. И мы в своем праве! – говорил он себе. А все же у слова «лжесвидетель» был мерзкий вкус.

* * *

– И что ты на ровном месте проблемы создаешь, – пожимал плечами Гринь, – я бы вмиг твоих «марь-иванн» настроил на нужный лад.

– В центре велели, чтобы все выглядело законно.

– Пацан ты еще, Роман Давидович, как есть – желторотый. Да кто ж все указы-то выполняет? Да ежели так, меня бы, поди, уже и на свете не было.

Нет, не получался у Хацкелеева красивый процесс, как ни крути.

Однажды вечером, когда галдящая толпа товарищей и жалобщиков уже схлынула, а Кира, наговорив ему гадостей, отправилась домой, он думал. Посадить отца Михаила было просто. Факт поминовения Николая Романова установлен (да подсудимый его и не скрывал), то есть акт контрреволюционной пропаганды налицо. Но как привлечь к этому делу остальных фигурантов? Весь Епархиальный совет – не шутка!

– Теленок ты, Роман Давидович! Тут работы на три минуты: сел, вызвал арестованного, убедил его написать чистосердечное, – говорил Гринь.

– И? В чем признаваться-то он будет?

– Ну, это ты уж сам думай. Кто у нас голова? Ну, скажи, что он японский шпион, который работает против власти Советов.

И Хацкелеев решил вывести отца Михаила на чистосердечное признание.

Чистосердечное

Отец Михаил боялся смерти. А смерть сидела напротив, лениво и, кажется, брезгливо просматривала какие-то бумаги, делала пометки химическим карандашом, вовсе даже и не слушала, о чем там бормочет черносотенный поп. В коридоре своей очереди ждал десяток свидетелей, подозреваемых... «Вздор, какая смерть? За что? Нелепость...»

Этот комиссар был из новеньких. Молодой, не старше тридцати, глаза слегка навывкате. Странные глаза – на тебя не смотрят, а словно подглядывают. Черные курчавые волосы, нос с горбинкой. Новый хозяин жизни.

– Ужасно у нас ведется документация, – пожаловалась смерть в лице комиссара и как будто слегка заискивающе улыбнулась обвиняемому. – Все в кучу: и участие в недозволенном собрании, и издание литературы против советской власти, панихида какая-то... Но собрание было полгода назад, я ничего не путаю?

– Нет, в январе мы собирались.

– По поводу?

– Мы обсуждали декрет об отделении Церкви от государства.

Отец Михаил уже не в первый раз сидел в этом кабинете и по опыту знал: чем меньше информации дашь им, тем меньше у них будет против тебя аргументов. Пусть спрашивают и уточняют – это их работа.

– Но до суда это дело не дошло. Почему?

– Ошибки в ведении следствия, – подсказал священник.

– Понятно, следственный комитет напутал. – Молодой комиссар сокрушенно покачал головой и стал похож на сельского учителя четырехклассной школы, который увидел грубейшую ошибку у любимого ученика. – Мы это исправим, – заверил он отца Михаила с таким видом, будто тот должен обрадоваться этой перспективе.

Вы позволите, я закурю? – спросил затем следователь и, не дожидаясь согласия, достал из кармана папиросу, продул ее, прикурил. Но дымить в лицо допрашиваемому, как это делал его предшественник, Гринь, не стал – отошел к окну, слегка прихрамывая, и углубился в свои мысли. – Ваша церковь считает курение грехом? – неожиданно спросил он.

– Да, то есть я ведь уже все рассказал вам. И я не понимаю, в чем меня обвиняют на этот раз.

Отец Михаил видел, что его собеседник далеко не прост. Гринь, от которого всегда несло самогоном, кричал, требовал, угрожая расстрелом, чистосердечного признания. Да так и не смог довести дело до суда.

Этот же, присланный из центра, одетый с иголки, говорил тихо, вежливо, сыпал парадоксами и кичился начитанностью. Отец Михаил угадывал в его глазах легкое презрение и какой-то незаданный вопрос.

– К обвинению мы перейдем позже, – вздохнул Хацкелеев и вернулся за письменный стол. – Итак, как вы полагаете по совести, может ли православный христианин защитить свою веру с оружием в руках? Это его право или обязанность? Грех или священный долг?

– Я не понимаю, почему вы спрашиваете? Разве это имеет отношение к делу?

– Вы просто ответьте на мой вопрос, – бросил Хацкелеев и опять погрузился в чтение.

– Конечно, защищать веру – это долг каждого христианина, но только мирным путем. Без оружия.

– А если я, скажем, войду в ваш храм... Серафимовский, да? Это возле базара, да? Ну, так вот, я войду в ваш храм и начну стрелять по иконам?

– Вас остановит охрана.

– Значит, ваша охрана инструктирована напасть на представителя советской власти с оружием в руках?

– Это какая-то странная гипотетическая ситуация. Я предпочитаю вернуться на почву реальных фактов.

– Давайте к фактам. Из кого состоит ваша охрана? Назовите их имена!

– У нас очередность.

– У вас есть оружие?

– Нет, конечно.

– У вас при обыске обнаружили винтовку. Как она к вам попала?

– Не помню, право... Она валялась на чердаке среди прочего хлама – у меня все не доходило руки разобрать. Может быть, от прежних жильцов осталась. Да и, вы понимаете, по канонам священник не может брать в руки оружие, иначе он извергается из сана.

– Простите?

– Ну, то есть перестает быть священником, теряет право совершать таинства...

– Но не обязательно же самому брать в руки оружие, – начал философствовать Хацкелев, – иногда и словом можно убить вернее, чем наганом. Я вот, знаете, скверный стрелок. Но я сражался на Дону против белоказаков.

– Словом?

– В том числе. Вел разъяснительную работу среди сельской бедноты. А потом эти люди брали в руки винтовки и убивали врагов.

– В чем все-таки меня обвиняют?

– Сейчас... – Хацкелев снова с головой погрузился в бумажный кавардак письменного стола, ничего не нашел и комично развел руками. – Следственный комитет завален жалобами. Работаем в две смены, рук не хватает. К концу рабочего дня у меня просто голова раскалывается. А, так вот же она, под стол упала... Так... «Гражданин Михаил Платанов обвиняется в контрреволюционной пропаганде». Товарищ Хазев составлял протокол задержания. Не густо. Так в чем заключалась пропаганда, святой отец?

– Не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите.

Отец Михаил видел, что рассеянность комиссара наиграна и что тот хочет хитростью заставить его свидетельствовать против самого себя.

– Хорошо, – пожал плечами Хацкелев, – я буду конкретен. Двадцать четвертого июля вы произнесли речь перед прихожанами, упомянув в ней о том, что советская власть убила Николая Романова.

– Ах вот вы о чем... Да, действительно, я прочел в вашей большевистской газете о расстреле Николая Романова. Это известие меня потрясло своей бессмысленной жестокостью.

– Вы считаете, что в этом действии не было смысла? – быстро перебил его Хацкелев.

– Нет, определенный смысл, конечно, был – Николай Романов мог быть опасен для Советов как символ.

– То есть вы признаете целесообразность казни Романова?

– Ничего я не признаю.

Отец Михаил начал уставать от этого липкого любопытного взгляда и от какой-то странной нечеловеческой логики следователя. «Не люди – бесы», – вдруг подумал он и тряхнул головой, чтобы отогнать недостойные мысли. Нет, вовсе не бес, а человек сидел сейчас перед ним. Человек, сотворенный по образу и подобию Божию, любимое Его создание, ничуть не менее достойное спасения, чем все остальные.

– Вы сказали, что Николай опасен, – добросовестно напомнил ему Хацкелев.

– Я попытался воспроизвести вашу логику, возможно, неудачно. Сам я ничего такого не думаю.

– Вы осудили власть Советов за это?

– Я ничего не сказал о власти Советов, – твердо, как только мог, ответил отец Михаил и понял, что сказал неправду. Не совсем правду.

К восстанию он не призывал, но разве он его не хотел? Если бы случилось это самое восстание, разве он не был бы этому рад? От лукавых и двоедушных мыслей отцу Михаилу стало нехорошо, и он заговорил быстро и сбивчиво:

– Я монархист, я считаю, что лучший строй для России – это монархия, но раз царя больше нет, раз он отрекся... Значит, я как христианин буду подчиняться той власти, которая придет ему на смену.

– Не очень-то вы нам подчиняетесь, – заметил Хацкелеев.

– Назовите закон, который я нарушил, и я с радостью понесу наказание!

– Агитация против власти – вам этого мало?

– Не было никакой агитации...

– Смотрите, какая штука получается, – заметил следователь неуверенно, как бы советуясь с обвиняемым, – поправьте меня, если я не прав. Высшей ценностью для христианина является... Вера, так?

– Так.

– А те, кто посягают на нее, – враги Церкви, так?

– Я не понимаю, что значит «посягают»... Ну, предположим...

– Веру надо же защищать?

– Да.

– Советская власть посягает на веру...

– Да, но...

– Спасибо, достаточно, товарищ. Вы сказали ключевое слово: «да».

– Ничего я не говорил, – заспорил было отец Михаил.

– Вы когда-нибудь сомневались в бытии Божиим? – внезапно спросил Хацкелеев.

– Зачем вам?

– Да или нет?

– В бытии – нет, не сомневался, – со вздохом ответил священник.

– А в чем сомневались? – с интересом спросил Хацкелеев. От него, как от опытного юриста, не укрылась легкая заминка отца Михаила.

– Будете склонять меня к атеизму?

– Упаси боже! – серьезно сказал Хацкелеев, и имя Божие в его устах прозвучало как издевательство. – Я к тому это, что вы с такой готовностью декларируете лояльность нашей власти, нисколько не сомневаясь как будто в ее законности... А я вот, большевик и коммунист... Сомневаюсь. Считаю, что сомнение есть неотъемлемое право мыслящего существа.

– Вы, стало быть, сомневаетесь в законности того дела, которому служите? – удивился отец Михаил.

– Был у меня такой случай, – ответил Хацкелеев невпопад. – Я только вернулся с фронта. Был ранен, воевать больше не мог, ну, да это не важно... Первое мое дело здесь – выездная сессия трибунала. Знаете, что это такое?

– Простите за прямоту – грабеж?

– Именно! – обрадовался Хацкелеев. – Я там для проформы был. Не при делах. Местные богатеи запрятали зерно. Ну, что вы усмехаетесь? Они его на самом деле спрятали от народа. И вот один комиссар ретивый велел ударить в колокол, чтобы собрать народ на сходку. А у попа дочка была – небесное создание тринадцати лет. Привыкла, видать, командовать паствой. Она и говорит, мол, дать приказ бить в колокол может только поп.

– Настоятель.

– Как?

– Ну, главный поп в церкви. Начальник церкви, по-вашему.

- Как вы в Серафимовском?
- Да.
- Ну, так вот, девочка сурово так одернула нашего товарища из ЧК. И он мне: «Давай, оформляй как к/р».
- Простите?
- Контрреволюционная пропаганда.
- Да как же можно судить ребенка? Это же...
- Незаконно?
- Я хотел сказать, что это бесчеловечно.
- Да, – кивнул Хацкелеев, – даже более, чем вы думаете. Рассказать, что сделали в ЧК с этой девочкой?
- Не надо!
- Будь я ее отцом, – продолжал рассуждать Хацкелеев, не обращая внимания на слова отца Михаила, – я бы поднял восстание. А вы?
- Что – я?
- Ну, если бы я ворвался в ваш дом, забрал вашу дочь, надругался над ней, неужели бы вы и тогда продолжали говорить, что, мол, власть от Бога?
- При чем тут вы и власть?
- Я представитель.
- Вы представитель власти, пока действуете в рамках закона. А когда вы выходите за эти рамки, вы просто бандит с большой дороги.
- Отлично сказано! – снова обрадовался Роман Давидович. – Значит, вы считаете, что советская власть – это бандиты с большой дороги? Я вас правильно понял?
- Нет, вы поняли меня неправильно...
- Хорошо, прочитайте и распишитесь, – холодно произнес Хацкелеев, протягивая отцу Михаилу протокол допроса.
- Мне очень жаль, – сказал тот.
- Чего же?
- Вы ведь не хотели, чтобы ту девочку постигла такая страшная судьба, и вам, наверное, совестно?
- Совесть – буржуазный предрассудок, – усмехнулся Хацкелеев.
- Вот возьмите, я подписал.
- У меня столько этих дел, – вдруг сказал следователь, как бы отвечая на свои собственные мысли, – если бы я вникал во все...
- Как же можно вершить судьбы людей, не вникая?
- А вы, когда принимаете исповедь, вникаете, да? Расспрашиваете, наверное, нутро пытаетесь человеку вывернуть?
- Вовсе нет, с чего вы взяли?
- Так и моя работа в чем-то сродни вашей. Сижут тут и слушаю: пьянство, взятки, пьянство, взятки, любовник сожительницу ужокошил, вся душа, как на ладони. А на душе, кроме смрада и мерзости, разве есть что-нибудь? – Хацкелеев пригорюнился и стал похож на молодого священника, впервые вышедшего на исповедь.
- Наша вера учит, что мир лежит во зле, но мир не есть зло.
- А наша вера учит, – парировал следователь, – что мир есть продукт экономических отношений. Изменишь среду – изменится и человек.
- Мне кажется или вы меня на что-то провоцируете?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.